

Валерий Плотников

Времена оттепели

прошли



воспоминания фотографа

Великие шестидесятники

Валерий Плотников

Времена оттепели прошли

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Плотников В. Ф.

Времена оттепели прошли / В. Ф. Плотников — «Издательство АСТ», 2020 — (Великие шестидесятники)

ISBN 978-5-17-110939-4

Валерий Плотников — легендарный фотограф, чей пик популярности пришелся на 70–90-е годы прошлого столетия. Мастерство, умение видеть глубину души человека, передавать в фотопортрете настроение и черты характера снискали ему международную славу. Попасть в объектив камеры Плотникова считалось престижно и знаково. У него снимались известные артисты, художники, писатели, политики, среди которых Владимир Высоцкий, Марина Влади, Иннокентий Смоктуновский, Алла Демидова, Михаил Шенякин, Сергей Соловьев, Борис Мессерер, Сергей Довлатов... И фотограф создавал уникальные произведения искусства. Недаром Ю. Рост назвал его «певцом культурного слоя». Валерий Плотников смог остановить мгновения. А как он это сделал, какой прошел творческий путь, с кем дружил и встречался, как фотографировал, он подробно рассказывает в своей книге. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-110939-4

© Плотников В. Ф., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

Город на Неве	6
Детство и юность	8
Отец	10
Финская молочница, цирк Чинизелли и смерть Джугашвили	12
Одиночество и честность	14
Доверчивость	15
Моя бабушка	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Валерий Федорович Плотников

Времена оттепели прошли

Воспоминания фотографа

Помните, что человек, которого вы фотографируете, составляет 50 % портрета, а остальные 50 % – это вы.

Лорд Патрик Личфилд, британский фотограф, кузен королевы Елизаветы II

Многие фотографы считают, что если они купят лучшую камеру, то смогут снимать лучшие фотографии. Лучшая камера не будет работать за вас, если в вашей голове или в сердце ничего нет.

Арнольд Ньюман, американский фотограф, создатель жанра портретной съемки в естественной обстановке

Фотография – это тайна о тайне.

Диана Арбус, американский фотограф, одна из центральных фигур документальной фотографии

Издательство благодарит за помощь в работе над книгой *Светлану Ярошевич* и *Алену Белодедову*

* * *

© В. Ф. Плотников, 2020

© Издательство АСТ, 2020

Город на Неве

Родился я 20 октября 1943 года в Барнауле, в эвакуации. Мой отец был директором завода, который тогда перебазировали на Алтай. Он был из городской номенклатуры не самого высокого ранга, но имел доступ ко всем этим американским ленд-лизским поставкам, а ведь далеко не все могли получать их.

Когда мне было два года, мы уже жили в Петербурге, и мне взяли няню, девочку лет пятнадцати-шестнадцати, которая приехала из-под Новгорода.

Кстати, сразу хочу отметить, что я не люблю и никогда не любил слово «Ленинград» и всегда боролся против него. Я всегда отдавал предпочтение Петербургу – в отличие от многих своих друзей и товарищей, к сожалению, рассеявшихся по всему миру. Безусловно, бывают разные обстоятельства, и можно уехать куда-то, причем очень даже далеко, но я никогда не забываю свой родной город, не забываю, что он мне дал. Да и не только мне, а очень многим.

А Петербург – это для меня вопрос принципиальный. Я точно знаю, что как вы корабль назовете, так он и поплывет. И что только блокада Ленинграда возможна, а блокада Санкт-Петербурга невозможна – это же абсурд.

И слово «Питер» мне не нравится. Лучше говорить «город на Неве». Потому что «Питер» – это говорит Александр Невзоров. А «город на Неве» – это такое своеобразное полит-корректное умолчание.

Сейчас я человек уже немолодой, живу давно, и главное – помню все очень хорошо. Практически всю жизнь я прожил на Невском проспекте и отлично помню, как по нему ходил трамвай. Сегодня все удивляются: «Как? Неужели по Невскому ходил трамвай?!» В этом и заключается разница поколений, возраста и памяти. Да, на Невском были трамвайные рельсы, и когда умер Джугашвили, их как раз снимали.

Вспоминается масса замечательных моментов, связанных с Невским. Мы жили в доме № 54, на углу проспекта 25-го Октября и переулка Пролеткульта. Кто сегодня знает, что это за улицы? А между тем это пересечение нынешних Невского и Малой Садовой. Как сейчас вижу роскошную четверку лошадей с султанами, похоронную процессию, катафалки. Я был тогда еще совсем маленьким, но меня поразили кони в упряжи – крупные, мощные битюги: как они пережили блокаду? Еще помню, как к самому Дому Зингера на Екатерининском канале каждый день приезжал киоск, запряженный пони или осликом, продававший билеты в цирк. Тогда даже простая покупка билетов превращалась в праздник.

И столько было этих неповторимых городских штрихов, столько деталей старого Петербурга!

Конечно, какие-то забавные ситуации и сейчас бывают. Например, перед бывшим подъездом дома № 54, в котором наша семья жила еще до 1917 года, стоит памятник неизвестному фотографу. Это не «отец российского фоторепортажа» Карл Булла, это именно неизвестный фотограф, и те три-четыре человека, которые еще помнят мою квартиру на Невском, иногда в шутку спрашивают, сколько я заплатил за подобный «промоушен». Нет, такое мне не по карману. Кстати, то, что потрясающий Булла был моим соседом, я выяснил уже после ВГИКа, когда всерьез начал заниматься фотографией.

Не так давно один из моих товарищей по цеху нелестно отозвался обо мне, охарактеризовав как пришельца, который сделал себе имя в Москве, а теперь приехал в Петербург на пенсию, почивать на лаврах. В действительности это не так. Я всю жизнь был прописан здесь, в родном городе, и всегда подчеркивал принадлежность Петербургу. А вот многие не просто уехали из города, но даже и не вспоминают о нем.

Да, я не люблю слово «Ленинград», эту «воровскую кличку». А падение моего бесконечно любимого города началось еще в 1914 году, когда он отказался от своего святого покро-

вителя, убрав из названия «Санкт» и став просто Петроградом. Экскурсоводы рассказывают, что город назван в честь Петра Первого, но ведь это неверно! Он получил имя в честь Святого Петра, небесного покровителя царя-основателя.

Все запутано, перевернуто. Приезжаешь в Москву – стоит бюст архитектора Тона. Написано: «Тон Константин Андреевич. Автор здания Ленинградского вокзала». А в Санкт-Петербурге на стене мемориальная доска с надписью: «Автору проекта здания Московского вокзала, построенного в 1851 году». Но ведь архитектор Тон умер в 1881 году, и он был строителем Николаевского вокзала, не Московского! И уж точно не Ленинградского! Что у людей в головах? Беспамятная страна...

Детство и юность

Итак, я родился в Барнауле, в эвакуации. А с осени 1945 года мы уже жили в Петербурге. После войны в большие города съезжались люди из ближайших разоренных областей, и они надеялись, что в городе найдут хоть какое-то пристанище, хоть какой-то приработок. И хотя послевоенный Петербург жил очень тяжело, но все равно люди туда стремились, потому что у них было еще хуже.

Приезжие знали, что мы живем в квартирах, пусть коммунальных, но квартирах, у нас есть входная дверь, которая закрывается, а у них не было вообще никакого жилья. И я помню весь этот ужас, когда звонят в дверь (я знал, что не надо открывать, но все-таки открывал), и там стояли женщины с кучей детей и просили что-нибудь Христа ради. Они умоляли, дайте хоть что-нибудь. Я был очень совестливый и чуткий ребенок, и я объяснял им, что у нас ничего нет. Я видел по внешнему виду этих детей, что они чудовищно бедны. Сам-то я был в рейтузах, брючках, штанишках и курточке, а они полуголые...

Еще я помню (сам или по рассказам матери), что зимой мы с няней, этой деревенской девчонкой из-под Новгорода, как-то пошли на рынок на Кузнечной – у нее, видимо, там были амурные дела или что-то другое. И она говорит мне: «Стой здесь, никуда не уходи, я сейчас приду». Я и стоял. И тут ко мне подошла какая-то тетка и говорит: «Мальчик, хочешь мороженое?» Кто же не хочет? «Хочу». – «Пойдем». Я пошел с ней за мороженым. Мы зашли в подъезд, она сняла с меня всю одежду, пообещав курточку (как у Буратино), и мороженое. И я стоял в этом подъезде, ждал мороженого. Естественно, никакого мороженого не дождался, и я вышел на улицу в маечке и трусиках. А на улице зима. Прохожие заинтересовались: «Мальчик, что с тобой?» – «Я жду мороженого, мне мороженое обещали». То, что я голый, а на улице зима, это меня почему-то не взволновало.

В общем, отвели меня в милицию. И вот что потрясает. Я помню, что по полу ползал милиционер, изображал лошадку, развлекал меня. И тут открылась дверь, в ужасе влетела мать и, когда увидела, что со мной все в порядке, забилась в истерику. А няня, бедная девчонка, когда увидела, что меня нет, может быть, украли, бросилась под трамвай, но, слава Богу, все обошлось. Мама потом ходила к ней в больницу.

Еще помню такое место под Петербургом – Пудость. Все мечтаю туда съездить, успею ли, не знаю. Это было замечательное место: лес, озеро, кувшинки, и там мы с матерью часто ездили на обычной телеге, которая была немножко похожа на гроб, на перевернутую трапецию. И вот мы с ней ехали, и то ли она не справилась с лошадьми, то ли слишком круто повернула, но телега перевернулась и накрыла меня, словно крышкой. Я, естественно, в крик. Мама попыталась приподнять эту телегу, но не справилась – очень тяжелая. И тогда она побежала в деревню за помощью. Прибегает обратно с мужиками, а под телегой – тишина. У матери внутри все словно оборвалось. Мужики кое-как перевернули эту телегу. А я под ней крепко спал.

Между прочим, потом такой вариант стрессотерапии я замечал у своего сына. Я обратил внимание: если шлепнуть его по мягкому месту, он сразу в крик – и засыпал. Отработав это несколько раз, я потом спрашивал: «Степа, дасть снотворного?» – «Нет, я так». И засыпал. Без всякой угрозы с моей стороны.

Припоминаю другое замечательное место – Саблино, не знаю, во что оно сейчас превратилось. Там была речка Саблинка, одна из достопримечательностей пригорода по дороге из Москвы в Петербург, где поезд переезжает через эту речку. Когда еду, каждый раз смотрю из вагона... и не могу поверить. Речка стала мелкая, «по камушкам бежит», а в детстве, помню, мы ныряли с разбега в эту Саблинку. А сейчас это просто ручей. Когда я был в Испании, то видел, что Гвадалквивир – река довольно широкая и спокойная, а у Пушкина она «бежит, шумит»...

Вернемся в Саблино – там у родственников наших соседей по квартире был небольшой дом, и они несколько раз брали меня туда летом. Я помню замечательный пруд на участке, а в нем очень много карасей! Они там размножались со страшной силой, и ловить их было одно удовольствие. Ловили их даже не сачком, а сачищем таким, просто опускали его на дно, какое-то время давали воде успокоиться, караси приплывали, и их можно было потом просто вынимать руками. Для кошки это было огромное удовольствие. Они были такие красивые, упитанные.

Еще в Саблино, справа, если возвращаться в Петербург из Москвы, стояла потрясающая, в стиле модерн, железнодорожная больница из красного кирпича. Еще сейчас кое-где видно, что у железнодорожных построек был свой стиль. Архитектор разрабатывал павильоны, при вокзальные станции, даже будки стрелочников или обходчиков, все это было в комплексе. И эта трехэтажная больница тогда была действующей, а потом ее перевели в город (зачем в Саблине больницу держать), и народ всю ее растащил на кирпичи. Раствор был хороший, и ее били ломом. Сейчас там остались только руины и маленькая речка Саблинка.

Отец

Я – незаконнорожденный ребенок, бастард, и по советским законам у меня не должно было быть фамилии и отчества отца. Тем не менее отец что-то придумал, и я ношу его фамилию и отчество. Когда отца не стало, маме даже удалось выхлопотать для меня небольшую пенсию.

У отца была другая семья. Это я узнал позже, когда уже не было в живых ни его, ни матери. Мой отец после катастрофы (революции) был большевиком, и партия послала его на Кавказ. Там он женился, и у него было две дочки. Потом он встретил мою маму, но с женой, которая была старше его, не разводился. Когда родился сын, то есть я, отец был очень рад. И хотя мы не часто виделись, он меня любил. Когда он приходил, мама посылала меня встречать его около Елисеевского магазина, напротив нашего дома. Там после войны была рекламная резная гранитная тумба, на нее вывешивали репертуар кинотеатра «Сплэндид Палас», который находился в глубине площади, метрах в 400–600 от Невского. Этот кинотеатр, названный так за пышность убранства, считался одним из лучших в городе, и его потом переименовали в «Рот Фронт», а затем он получил новое имя – «Родина».

Когда я возле этой тумбы встречал отца, он всегда спрашивал: «В квартире никого нет?» И потом поднимался, ненадолго задерживался и уходил. По-моему, в эвакуации он жил с нами, но это только мои догадки.

На фотографиях, которые мне достались, я вижу отца и мать в каких-то компаниях за городом, на пикниках, участвующих в спортивных занятиях. Есть фото, где он копается в мотоцикле. Потом отец стал директором треста «Ленмолоко».

О смерти моего отца я узнал из газеты. До этого я знал, что он болеет, хотя мать меня особо не посвящала в подробности. Мне было тогда лет десять. У отца была онкология, но мама, чтобы не пугать меня, говорила, что у него воспаление легких. И я прочел в какой-то газете, что нашли лекарство от воспаления легких. Я сказал: «Мама, папа скоро выздоровеет, ведь нашли какое-то лекарство». Мама поддержала мою надежду. А так как тогда все получали газету «Зеленогорская правда», это была городская газета, и я почему-то начал просматривать ее с последнего листа, где всегда печатались траурные объявления, не знаю, почему, наверное, сердце подсказало. И увидел объявление: «Организация „Ленмолоко“ с прискорбием сообщает о смерти...»

Наверное, за год до его ухода из жизни мы с матерью приходили к отцу на работу, и в бухгалтерии мне дали новенький, только что напечатанный бумажный рубль. А я копил деньги, и к 8 Марта у меня набиралось рублей семь-восемь. И тогда я покупал маме, нет, не духи, а одеколон – он дешевле. А в моем представлении, если хорошо пахло, значит, духи.

Я помню прощание с отцом, его похороны, и хотя отца и мать к тому времени уже ничего не связывало, мама выхлопотала небольшую пенсию. Сама она всю жизнь получала самую низкую зарплату – 56 рублей, потом 62 и 68 рублей. Она была секретарь-машинистка, окончила курсы стенографии, чтобы что-то еще подрабатывать.

Потом выяснилось, что мой папа не был отцом двух этих девочек, хотя они носили его фамилию. Они сами потом нашли меня, потому что видели меня по телевидению. Став достаточно взрослым человеком, я решил разыскать могилу отца. Я помнил, что это было Шуваловское кладбище, что на берегу Большого Нижнего Суздальского озера, на Церковной горе. Его еще описывал Александр Блок в стихотворении «Над озером». Там, на кладбище, до сих пор существует так называемый камень Блока, где, согласно местной легенде, у поэта и родились такие строки:

С вечерним озером я разговор веду

Высоким ладом песни. В тонкой чаще
Высоких сосен, с выступов песчаных,
Из-за могил и склепов, где огни
Лампад и сумрак дымно-сизый —
Влюбленные ему я песни шлю.

Когда происходили похороны, был месяц март, все в снегу, но солнце светило, и я немного запомнил это место. Потом я все-таки нашел его могилу, это был целый некрополь семьи Плотниковых – хорошо, что сохранились документы.

Мой дед и прадед, которых я никогда не видел, жили в соседних Озерках, и их семья имела свой участок на кладбище. А во время блокады какие-то люди половину этого участка захватили.

Памятники там были безобразные, какие-то бетонные раковины с надписями. Там были похоронены еще три брата отца. Один брат попал под трамвай после войны, пережив все ужасы блокады. Когда я увидел эти неухоженные могилы, я захотел сделать нормальное надгробие, без фотокарточек и бумажных венков. Тогда уже у кладбища были какие-то ресурсы, и я заказал три стелы, на которых написал фамилии отца, его братьев, жены и моей мамы. Теперь там лежат еще мои сводные сестры.

И вдруг объявилась какая-то внучка, стала мне звонить: какое я имел право ставить эти памятники? Я ей объяснил, что у меня есть документы, что я сын своего отца. В общем, все это было довольно странно.

Однажды я выступал по телевидению, и мне потом сказали, что звонила какая-то женщина, кричала, что я из могилы кого-то выкинул, что меня надо поганой метлой гнать с экранов советского телевизора. Однако с дальними родственниками я потом подружился, даже помогал им какое-то время финансово. Я у них выкупал фотографии и документы отца, это тоже была финансовая помощь. Благодаря этому весь архив отца оказался у меня.

Мама никогда не рассказывала, как она познакомилась с отцом. Я вижу на фотографиях, что тогда она была совсем молоденькая. Не знаю, помогал ли он нам с мамой. Думаю, что немного помогал. Но мы жили с ней очень тяжело. Часто за день-два до получки нам просто нечего было есть.

Финская молочница, цирк Чинизелли и смерть Джугашвили

В нашем доме № 54, в квартире 54, был огромный общий холл – в нем на взрослом велосипеде я мог аккуратно делать круги. В холле имелся двухсветный зал с большими окнами и большими широкими подоконниками. Когда я уходил в школу, на подоконнике уже стояли кастрюли, кружки, какие-то ковшики. Утром приходила финская молочница (почему-то ее называли финской), которая привозила молоко в бидонах и разливала его в посуду на этих подоконниках, точно зная, кому сколько нужно. Для нас молоко наливалось в большую кружку – объем тары зависел от благосостояния семьи.

Деньги молочнице, я думаю, передавали заранее или потом. Но я до сих пор не понимаю, как эта молочница успевала подоить утром корову, потом сесть на поезд (метро и электричек тогда не было), доехать до Финляндского или Царскосельского вокзала, затем на трамвае – до Невского проспекта, плюс везти все эти бидоны на себе. Холодильников тогда еще не было, все брали молоко только на один день, максимум на два, и чтобы оно не прокисло, его выставляли между оконными рамами. А еще я не могу представить, что молоко стояло целый день и никто его не трогал – не украл, не выпил, не бросил в него ржавый гвоздь, не плюнул...

Помню, что на праздничных столах непременно стояли шпроты, всегда была черная и красная икра, ведь наш дом стоял напротив Елисеевского магазина, а икра была дешевая. В великолепных залах магазина к Новому году выстраивали пирамиды из бутылок, из мандаринов и апельсинов. И был еще второй отдел, так называемый колониальный, где продавали чай, кофе, запах которых я помню с раннего детства. Этот запах потом исчез, потому что и чай, и кофе стали продавать упакованными, а тогда насыпали и мололи в мельницах, и приготовление кофе дома тоже было – как ритуал. Но мы с мамой кофе никогда не пили – для нас это было слишком дорого.

Приятные воспоминания связаны у меня с цирком Чинизелли на Фонтанке. Это был первый каменный стационарный цирк России, один из старейших цирков страны. Он открылся в 1877 году, и его основателем был Гаэтано Чинизелли. Помнится, у них была своя касса в виде кибитки или маленькой расписной тележки, которая все время проезжала мимо нашего дома. И вся прелесть заключалась в том, что ее до Дома Зингера (теперешний Дом книги), а это две троллейбусных остановки от меня, везли или ослик, или маленький пони. И в этой тележке продавали билеты. Это тоже был своего рода аттракцион. Со временем и тележка, и ослики с пони исчезли. А на Славу Полунина, который пытался воссоздать этот аттракцион, все чиновники почему-то окрысились и быстро-быстро затоптали новоявленный Цирк Чинизелли. Теперь это опять просто «Цирк на Фонтанке». Но до сих пор я помню эти маленькие осколки прежней жизни, этих неспешно вышагивающих по Невскому потрясюще статных красивых людей.

Я очень немного могу рассказать о годах блокады, и то в виде легенды. Говорили, что в наш дом попала бомба. И у нас в квартире, в левом углу, исчез кусок лепнины, остальное потом восстановили. Но лично я, приехав из эвакуации, уже ничего не застал. Кстати, в Саблине, которое было под оккупацией, рождались дети от немцев, и их, бедных, как только ни обзывали и дети, и взрослые...

В 1953 году, когда помер Джугашвили, мне еще не было десяти лет, но казалось, что жизнь кончилась. Я помню мою оторопь, когда мама меня разбудила: «Валерочка, вставай, надо идти в школу». Какая школа, когда он умер? Но все-таки я пошел в школу. Помню, мы пбили какого-то мальчика, который в такой день улыбнулся чему-то своему...

На Невском в это время разбирали рельсы, трамвай уже снимали. И там стояла огромная толпа, все ждали этого всемирного траурного гудка. Помню, рядом со мной стояла тетя, которая упала в обморок, когда наконец раздался гудок.

Одиночество и честность

В детстве у меня были книжки: «Маленький Мук», «Сказки братьев Гримм», Жюль Верн и еще какая-то книга с иллюстрациями Гюстава Доре, которые производили на меня жуткое впечатление. Я очень боялся этих иллюстраций, и когда мама уходила на работу, я оставался дома один, а осенью и зимой темнеет быстро, и я помню, что у нас был стол со столешницей, я под него забирался, и мне казалось, что если я ногами не буду касаться пола, то у меня есть шанс выжить... И я сидел так целый вечер и ждал, пока в двери клацнет мамин ключ.

Как-то раз мы шли в школу втроем с приятелями и увидели пожар – дым, пожарники в сверкающих касках, толпа народу. И мы опоздали в школу. Когда мы вошли, учительница Лидия Сергеевна почему-то стала вызывать нас из коридора по одному и спрашивать: «Почему ты опоздал?» Мне еще повезло, что я был самым последним. Кто-то из мальчишек сказал, что ключей не было и ему надо было дожидаться маленькую сестренку. Вторым про бабушку что-то стал рассказывать. И последним захожу я. «А ты почему опоздал?» – «Я с ними был». И Лидия Сергеевна поняла, что я – человек с чистой совестью: если Валера сказал, значит, так все и было.

Однажды я забыл дома тетрадку. Это не был тот случай, когда урок не сделаешь и притворяешься, что забыл тетрадку дома, а на самом деле я сделал урок, но действительно забыл тетрадку дома. Потом мама прибежала в школу с этой тетрадкой со сделанным уроком, а Лидия Сергеевна рассказала ей эту историю с нашим опозданием и успокоила маму, сказав, что она мне всегда верит.

Доверчивость

А вот еще несколько зарисовок. Я был воспитанным, или скорее воспитавшимся мальчиком, нахватавшимся хороших манер от бабушки. А еще я был честным и доверчивым, с ясными глазами. У нас в классе учился второгодник, а по тем временам второгодник – это уже как приговор. Я помню, мама всегда давала мне яблоко или другие фрукты, чтобы я употреблял витамины. И такое красивое было однажды яблоко, как сказочное, наливное, яркое-яркое, в крапинку. И этот второгодник (в жизни он, видимо, понимал больше, чем я) стал рассказывать, что у него есть братишка или сестричка, помирает совсем, просто рассказ Чехова, дай яблочко для больного ребенка. И я от сострадания к неведомому мне братишке или сестричке отдал ему это большое яблоко. Потом он вышел из школы, а я стоял почему-то у окна и видел его. И эта сволочь достала яблоко и начала его есть. А я подумал, ведь можно же было перейти площадь и там начать есть яблоко, чтобы я этого не видел. А ведь я его пожалел... Обида была безумная на самого себя, потому что я такой доверчивый дурак. Но у меня таких случаев было в детстве полно.

Еще одна история. Александринский театр, памятник Екатерине II, это был сад моего детства, где я гулял, перейдя Невский проспект. Тогда было намного проще перейти Невский. Незадолго до этого мама купила мне коньки снегурки. У них был завитой нос, поэтому на них можно было кататься даже по снегу, они не втыкались в него. Их надо было привязывать к ботинкам – там были веревочки или ремешки, которые я закручивал и потом затягивал палочкой, одной или двумя.

И тут подошел ко мне какой-то переросток и говорит: «Дай покататься на коньках». И тоже какую-то душещипательную историю стал рассказывать. Говорил, что только объедет памятник. А памятник Екатерине, он большой, круглый, за ним ничего не видно. «Я только туда и обратно». Короче, я отдал ему коньки. Он покатился. Я ждал и думал, почему он так долго объезжает памятник Екатерине. Для этого надо всего полторы или две минуты. Я пошел, заглянул за памятник, а там никого нет. Естественно, не было и моих снегурок, я даже не успел на них вдоволь покататься...

Еще помню, мама давала мне с собой завтраки, потому что буфета, наверное, в школе не было, но даже если и был, то не для маминого кошелька. Самое ужасное, что мама мне давала в школу теплое какао или молоко в бутылочке, укутывала ее, чтобы не остывала, но она, к сожалению, не понимала, что нельзя давать подростку в школу бутылочку от детского питания для грудных детей с делениями 50, 100, 150 грамм. И если бы кто-то увидел, что я пью из такой бутылки, то позора было бы – не оберешься. Поэтому на перемене я забирался под парту, есть-то хотелось – и это было каждый раз ужасное мучение. Я пытался несколько раз протестовать, но напрасно. Маме даже не приходило в голову, что я все-таки мальчишка, нельзя, например, ходить со мной в женскую баню. Мужчины в доме не было, но можно меня было подкинуть соседу, но она, видимо, вообще не понимала этого.

А я понимал, что мама многого не может купить. Но мне очень хотелось дорожный велосипед, который стоил не то 57, не то 67 рублей – больше, чем мамина месячная зарплата. И, конечно, я осознавал, что просить бессмысленно. И когда мама на какой-то мой день рождения подарила мне этот велосипед, я не мог поверить своему счастью. Настоящий велосипед! Мой! И не надо ни у кого просить! А мама каким-то образом купила его, ведь она еще умела шить и, наверное, накопила на него денег.

А совсем в раннем детстве я так просил маму купить жестяного заводного мотоциклиста, который ехал по прямой достаточно долго. Стоил он семь рублей с копейками. И мама, видно, тоже долго откладывала на эту покупку. Наконец мы пошли, как сейчас помню, в магазин на угол Литейного и Белинского, и мама сказала: «Стой здесь». И пошла в кассу. А касса была,

как трибуна. И тоже из мрамора, с острыми углами, и я от радости (а это была осень, и пол был мокрый) так раскатился на ногах к кассе, что не мог остановиться и со всей силы влетел в этот острый мраморный угол. Хлынула кровь. Мама схватила меня, повезла в детскую больницу Раухфуса, которая называлась так по имени ее создателя, первого директора и главного врача – Карла Раухфуса.

Мотоциклиста, конечно, не купили. Помню, я заливаюсь кровью, а в приемной доктор осмотрел меня и спрашивает: «Ну что, будем зашивать?» Я как представил, что меня еще иглой будут зашивать, так и закричал: «Не надо зашивать, не надо!» И ударился в истерику. Но меня все-таки зашили, и у меня до сих пор остался шрам на лбу.

Моя бабушка

Моя бабушка была удивительным человеком. Каждое лето она снимала... ну, домиком это не назовешь, сарай скорее – на Карельском перешейке. Это было такой ностальгией по прошлой, дореволюционной жизни, когда семьи на лето выезжали из Петербурга за город. Так вот, на этой «даче» я, будучи ребенком, подслушал ее разговор с мамой. Бабушка просила найти подлинные документы нашей семьи, которые хранились в храме Анны Пророчицы и Симеона Богоприимца на Моховой. Маме так и не удалось выполнить эту просьбу, зато позже это сделал я. Слава богу, храм не сильно пострадал от советской власти – там не было ни овощехранилища, ни спортзала. Там всегда стояли кульманы – это я видел в детстве, когда проходил мимо. Мама этой дорогой отводила меня в очаг. То есть в детский сад. Это общее название яслей и детских садов, местное словечко. Как «парадное» и «поребрик». Ну так вот, уже после смерти мамы, во время перестройки, я вернул этот архив, но только благодаря вмешательству Анатолия Александровича Собчака, с которым был хорошо знаком. До этого мне говорили, что бумаги хранятся в НКВД. Из архива я узнал, что все бабушкины дети – другого года рождения. Оказывается, бабушка переписала годы их рождения. По документам они были рождены уже при советской власти, а на самом деле родились в 1913-м, 1914-м и 1916-м годах. Она думала, что так обезопасит семью от «карающего меча революции», который мог их всех настигнуть из-за родословной. Но эти меры не помогли. Ее выслали из Петербурга, разрешив взять только то, что можно унести в руках. И она одна с тремя маленькими детьми оказалась в Вологде. Все это я узнал относительно недавно.

Что же касается «дачи», которую бабушка регулярно снимала летом, то она находилась в Териоки, теперешнем Зеленогорске. Это был бывший курятник – летом кур можно было держать в сетке на улице, и хозяева сдавали дачникам эти сараюшки, а люди были согласны на все, главное же – свежий воздух...

Бабушка долго жила с нами. Помню, как на Рождество, хотя слово «Рождество» не проносилось, бабушка нас с Леночкой, моей двоюродной сестрой, выставляла в коридор и преображала нашу комнату в квартире. И когда мы с Леночкой входили, это было чудо... В углу стояла огромная елка, к ней тянулись нити, на которых висели комочки ваты, кольца из золотой бумаги и звезды.

Из бумаги делали цепочку, склеивая отдельные кольца, – из украшений ведь ничего не продавалось. Игрушки частично были еще дореволюционные. У меня сохранилось несколько таких игрушек, остальные разбились. На стекло бабушка наклеивала вырезанные снежинки, а между оконных рам всегда клала вату, но самое потрясающее, что на эту вату она выкладывала рябину, заготовленную с ранней осени. В своей семье я всегда праздновал Новый год 25 декабря и тоже иногда клал рябину между рамами.

Наш дом № 54 находился на углу Невского проспекта, напротив Елисейевского и Александринки. Квартира тоже была номер 54. В дом входили не с Невского, а с переулка Пролеткульта, а теперь – с Малой Садовой. До революции эта пятикомнатная квартира вся принадлежала бабушке. А потом нам оставили лишь одну комнату, как и остальным соседям и многим другим петербуржцам. В домах, фасады которых выходили на Невский, квартиры состояли из восьми, десяти или двенадцати комнат, а у нас дом был подешевле, но имелся и парадный, и черный вход.

После катастрофы (революции) все изменилось. Даже бабушкины дочери стали комсомолками, ворошиловскими стрелками. И бабушке, я думаю, было горько на них смотреть и вспоминать, что все они из рода князей Шаховских. Бабушка очень расстраивалась, ведь все ее дети родились до катастрофы. У нее было четверо детей, выжили только трое – моя тетя

Наташа, дядя Володя и моя мама, Тамара. Впоследствии я разобрался с родословной бабушки, и выяснилось, что она действительно урожденная княгиня Шаховская.

А фамилия моей мамы Силивоник. Моя дочка, которая работает в Эрмитаже, подняла все амбарные книги «Весь Петербург» и нашла только одну фамилию Силивоник на Васильевском острове. Я смутно помню, что эта странная фамилия была связана с бабушкиным братом, моим двоюродным дедушкой.

Дедушка, кажется, был гусаром, но бабушка, напуганная тридцатыми годами, когда ее с детьми выслали, ничего о нем не говорила. Было несколько чисток, когда выселяли поочередно дворян, священников, бывших офицеров, их просто выметали из города. Потом был 1936 год, страшный 1937-й, 1938-й год. Бабушка тогда жила с детьми не то в Вологде, не то в Костроме. И ей пришлось работать маникюршей при городской бане, потому что у бабушки никакой профессии не было, а рабочие и крестьянки тоже заботились о «красе ногтей». И она продолжала носить фамилию Шаховская.

В документах, которые я нашел в архивах благодаря мэру Анатолию Александровичу Собчаку, было написано, что моя бабушка – Елена Вениаминовна (потом она стала Васильевской) Шаховская. Интересно, что в актах о крещении ее детей крестными родителями были почему-то люди с грузинскими фамилиями: Чавчавадзе, Дзевилиани, еще какие-то.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.